

ПАРИЖСКИЕ ФЕЛЬЕТОНЫ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
 “СТРАХОВКА ЖИЗНИ”

О. Г. Ревзина

Парижские фельетоны М. Цветаевой (“Страховка жизни” и “Китаец”) были опубликованы в 1934 году в газете “Последние новости”. В творчестве М. Цветаевой нет других примеров обращения к такому смешанному художественно-публицистическому жанру, каковым является фельетон, но с необычной для нее творческой задачей Цветаева справилась вполне профессионально: перед нами непринужденное, проникнутое иронией повествование о “жизненных случаях” с отчетливо выраженной “позицией”. Парижские фельетоны Цветаевой не представляли бы особого интереса, если бы не три момента. Во-первых, их писал поэт, и поэтическое мышление Цветаевой сообщает текстам семантическую многоплановость, которую фельетон как жанр не предполагает. Во-вторых, “жизненные случаи” – это маленькие сценки из повседневного парижского быта Цветаевой, когда она – жена, мать, домохозяйка вступает в общение с горожанами и прежде всего с исконными жителями Парижа – с французами. И наконец, в третьих – то, что было названо позицией: в сюжете, в конфигурации персонажей, в языке, в диалогических структурах “немудрящих” фельетонов явственно проступают коллизия Запад – Россия – Восток и переживание М. Цветаевой этой коллизии.

В “Страховке жизни” рассказывается о вполне банальном событии – приходе страхового агента. В советские годы в России на подобный приход откликались так: “О страх, о страх, пришел Госстрах!”. То есть – с одной стороны, иметь дело с государством всегда неприятно, с другой – это не опасно, все-таки страхование – вещь добровольная, можно отказаться, и ничего не будет. Но в “Страховке жизни” русская семья – и французский инспектор. На этом-то поле Цветаева и выстраивает диалог, в котором искусная речевая стратегия уговаривания, принадлежащая французскому инспектору, разбивается о русскую логику “клиента”, а

понимание достигается в ином концептуальном пространстве: в нем нет ни русских, ни французов, ни России, ни Запада, а есть отношения, формируемые первичной из всех связей – связью через рождение.

“Страховка жизни” – единственное из цветаевских прозаических произведений, в котором нет эксплицитно заявленного авторского “я”. Третьеличная форма маркирует дискурс как художественный, превращая “я” в персонажа и создавая возможность внешней точки зрения. Повествование может быть раскадровано подобно кинематографическому сценарию с тщательно продуманной аранжировкой кадров, и в первом из них обозначены соединенные родством фигуры: “отец, мать, сын”. “Русско-французские связи” проступают в первом же высказывании, ибо семья ест, “сливая русский ужин с французским обедом в римском салате” (V, 214 – В проекции православие – католичество неслучаен, возможно, и “римский салат”).¹ Из кулинарного кода русско-французская тема переносится в собственно языковой – непонимание возникает между матерью и сыном:

- Мама, а какие французы обильные – вдруг сказал мальчик.
- Это не французы обильные, это русские обильные! – горячо сказала мать. – И вообще, так скорей принято говорить о странах (V, 214).

Ошибку сына, объясняемую сходным звучанием французского *habile* и русского “обильный”, М. Цветаева называет “словесным метисом”, метонимически используя заимствованное из французского же слово “метис” – “название потомка от браков представителей разных человеческих рас”. Итак, скрещивание – “сливание” русской и французской составляющей терпит провал как на уровне обычая, так и языка, а в ответной реплике матери развивается иная возможность – противопоставления. Ибо “обильна”, без сомнения, одна страна – та, к которой взывал Н. А. Некрасов: “Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и могучая, Ты и бессильная, Матушка-Русь!” Добавим, что в отнесении к человеку “обильный” означает не столько “богатый”, сколько “щедрый” и, кроме того – “наделенный в преизбытке чем-либо”, при этом позитивно оцениваются и те характеристики, которые представлены в преизбытке, и сам факт преизбытка. В следующей сцене заявленное в диалоге соположение русских и французов овеществляется – появляется французский инспектор.

С этого момента в смысловой структуре текста начинает играть роль сама конфигурация персонажей и характер её изменений. Прежде члены

¹ Все ссылки на “Страховку жизни” даются по изданию: Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. Том V. Москва 1994.

семьи были перечислены в соответствии с иерархией отцовства. Но на "стук в дверь" идет открывать мать, она становится центральной фигурой, в то время как отец и сын превращаются в бессловесных статистов. Мать и инспектор загораживают дверь (муж позднее признается, что он "как в западне сидел"), но тем самым мать выполняет и роль оберега, как бы защищая членов семьи от возможной опасности. В свою очередь инспектор первоначально оказывается в западне чужого "русского" пространства ("между обеденным столом, посудным столом, газом, плитой, раковиной и стульями обедающих" - V, 214), которое описывается в метафорах пропасти и морского прилива, то есть в свою очередь таит угрозу. Мотивы опасности / безопасности, страха / уверенности обретают новое выражение, когда мать, пытаясь идентифицировать незнакомца, думает о "Sureté" и слышит от пришедшего "Assurance". В корневой семантике этих слов (лат. securus [se + cura] – "безопасный, огражденный от опасностей, спокойный, надежный" содержатся идущие от разума представления о заботе, уверенности и защищенности. Они находятся в резком контрасте с тем чувством, которое испытывает мать и название которого содержится в русском слове "с т р а х о в к а", входящем в название рассказа (напомним также о "страхе Божиим", то есть "благочестии, боязни греха", ср. приводимую Далем идиому "В ком есть страх, в том есть и Бог"). Для читателя смысловое пространство рассказа необыкновенно расширяется, ибо речь идет уже о западной и русской вере, о философии истории и судьбы, об этике рациональности и этике чувства.

Основную часть рассказа составляет диалог инспектора и матери, в котором инспектор, в полном соответствии с имеющейся у него целью, обращается к речевой тактике уговаривания. Свою речевую партию инспектор проводит безукоризненно ("точно говоря преискурант", думает мать после его ухода), но на каждом конкретном шаге его тактика дает сбой из-за "неправильных" и не относящихся к сути дела возражений матери. Более того, эти возражения приводят к тому, что инспектор отказывается от выполнения служебного долга, но при этом уходит из дома вполне удовлетворенный достигнутым пониманием. Ритмическая кривая речевой тактики получает иконическое выражение как в пространственных конфигурациях, так и в других знаках невербальной семиотики. Исходно "слабая" коммуникативная позиция инспектора соотносится с тем, что шагнув в кухню, "молодой человек...стал...одной ногой, перекинув через неё вторую, левую" (V, 213); в середине диалога, когда инспектор наращивает тактику уговаривания, рассчитывая на её успешность, он произносит свою реплику, "утверждаясь на одной ноге" (V, 215); близящееся фиаско сопровождается нарушением равновесия: "Рус-

ские всегда говорят ‘нет’, – задумчиво сказал молодой человек, покачиваясь в коленях” (V, 216); и, наконец, молодой человек приобретает потенциальную устойчивость в мыслях героини по мере того, как она переводит ситуацию официального общения в гостевую: “Нужно предложить сесть, в который раз мелькнуло у неё в голове, ведь сейчас это гость, но куда поставить стул?” (V, 217). В свою очередь для героини значим переход из статической позиции в динамическую, которая в преддверии кульминации обретает вид прямой атаки: “Теперь вы это говорите в третий раз! – взорвалась молодая женщина, уже куря и идя прямо на него и этим водворяя его в кухню” (V, 214-215). Курение также играет определенную роль в развитии коммуникативной ситуации: “переходя в другую комнату за папиросами” (V, 215), героиня обращается “за силами подкрепления” в той фазе диалога, которая непосредственно предшествует “поражению” инспектора; собираясь предложить инспектору папиросу, она отмечает начало нового типа общения, основанного на взаимопонимании. Достижение взаимопонимания и становится, собственно говоря, главной темой рассказа-фельетона.

Никакой контакт невозможен без общего кода-языка. Начавшись в диалоге матери и сына, “проверка кода” продолжает себя в коммуникативных ходах инспектора:

Вы, кажется, не понимаете по-французски, – осведомился он [...].

О нет! – воскликнула мать, задетая за живое и от этого, действительно, оживая. – Мы отлично понимаем (V, 214).

И при выборе из членов семьи оптимальной фигуры для предстоящих переговоров, инспектор руководствуется знанием французского языка:

Я вообще буду говорить с вами, потому что ваш супруг имеет вид не понимающего по-французски (V, 215).

Убедившись в том, что “обратная связь” действует, инспектор немедленно приводит в действие свое видение коммуникативной ситуации и приступает к реализации семантической стратегии уговаривания.² Между тем для матери опознание коммуникативной ситуации оказывается отсроченным. В её колебаниях относительно пришельца и цели его визита угадываются социальная, личностная и психологическая составляющие. Социальная составляющая определяется достаточно четко: это и страх “маленького человека” перед любой властью, и подыскивание собствен-

² О семантической стратегии уговаривания и характеризующих её тактиках см. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Москва 2002.

ных социальных прегрешений, которые оправдали бы появление инспектора (“Налог! – мысленно произнесла она. – А ведь недавно вносили...” – V, 213), причем все это усилено собственной бесправностью в чужой стране: “И за что же нас арестовывать, наконец?” (V, 213). Особый интерес представляет личностная составляющая. В ней есть автобиографический и психологический компоненты. Если вспомнить то, что происходило с Сергеем Эфроном в 30-ые годы, упорное молчание мужа в “Страховке жизни”, избегающего вступать в контакт с каким-никаким, но все-таки представителем власти, равно как возникшая в сознании матери мысль об аресте ретроспективно обретают другой – и зловецкий смысл. Психологический аспект, спроецированный в цветаевское творчество, состоит в следующем. В сюжете с французским инспектором воспроизводится ситуация, многократно представленная в поэмах М. Цветаевой: появление мужчины, с которым связана семантика непредсказуемости. Вот как описывается приход инспектора:

В эту секунду раздался стук в дверь [...]. На пороге, в полной тьме площадки, стоял кто-то очень высокий, с шляпой в руке (V, 214).

Это описание словно собрано из фрагментов, рассеянных по поэмам. В “Чародее” – “Уже выходит из передней!” (III, 6), в “Поэме Конца” – “Смерть не ждет. Преувеличенно плавлен Шляпы взлет” (III, 31), в “Поэме Воздуха” – это и “дверь”, и “стук”, и “стоявший”, который “Был полон терпенья. Как гость, за которым знак Хозяйки” (III, 137). Здесь можно напомнить, что в “Страховке жизни” мать – хозяйка дома в какой-то момент начинает воспринимать инспектора как гостя, а в самом госте из “Поэмы Воздуха” видят вестника смерти, инспектор же только и занимается тем, что рассказывает о различных смертях. Наконец, надо сказать о “Крысолове”. Мать, слушая инспектора, неправильно членит французскую звуковую цепь и приписывает ему такую фразу: “Я иду в Ньюельмон”, “Я же вам сказал: я прохожу в Ньюельмон”, “Я прохожу в Ньюельмон” (V, 214). Вот так – под звуки флейты – говорит или поет о себе Крысолов: “Прохожу, Госпожу свою – Музыку славлю” (III, 70). И в этом свете неслучайным кажется не только то, что все истории, рассказанные инспектором, связаны со смертью детей, но и то, что сравнение с детьми появляется при первом же представлении инспектора:

Вот моя карточка, – продолжал молодой человек, поднося к её глазам и тут же от них отымая (так детям на секунду показывают завтрашний “сюрприз”...) (V, 214).

Вокруг мотива, относящегося к приходу мужчины, так или иначе витает любовь (“Вроде Шираза щечного” в “Крысолове” – III, 76), после

ухода инспектора мать также задумывается о состоявшемся разговоре в проекции “мужчина – женщина”:

Двадцати шести лет, будучи высоким, красивым, на собственный взгляд, да и на всей парижской улицы взгляд, – неотразимым, рассказывать чужой, не старой еще, женщине, – да и вовсе молодой во тьме коридора!... (V, 219).

(Отметим в этой связи замечание М. Масловой: “...большинство мужчин, в которых в течение всей жизни влюблялась М.Цветаева, были весьма привлекательны внешне”).³

Итак, взаимопроницаемость художественного и биографического дискурса окружает приход инспектора комплексом интертекстуальных смыслов (любовь и смерть, страх и надежда), вместе и по отдельности взаимодействующих с непредсказуемостью – непредсказуемым ходом событий. В использованной инспектором семантической тактике уговаривания в качестве основного аргумента выдвигается непредсказуемый случай.

О. С. Иссерс выделяет среди условий уговаривания так называемые предусловия, сущностные условия, условие искренности и психологическое (дополнительное) условие.⁴ Эта совокупность в полном объеме представлена в коммуникации между матерью и инспектором. В самом деле, налицо предусловия: инспектор предполагает, что семья (в лице матери) “в состоянии совершить действие”,⁵ то есть заключить договор о страховании, при этом адресат “не расположен (не готов) производить действие по собственному желанию”;⁶ инспектор считает, что в его интересах заставить мать застраховаться, “но эта установка не всегда демонстрируется” инспектором.⁷ Также выполняются и сущностные условия: обращение инспектора “представляет собой попытку заставить” русскую семью застраховаться,⁸ при этом инспектор “считает, что необходимо некоторое количество аргументов (либо их повтор) для того, чтобы достичь цели”.⁹ С полным основанием можно говорить и о выполнении условия искренности: инспектор “считает (или делает вид)”, что для семьи

³ Маслова М. Мотив родства в творчестве Марины Цветаевой. Орел 2001, с. 66.

⁴ Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи, с. 149.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

“целесообразно и хорошо” застраховаться.¹⁰ Инспектор всеми силами старается следовать также психологическому условию, состоящему в том, что говорящий и слушающий “не должны находиться в состоянии конфронтации”.¹¹ Убедившись в невозможности вступить в непосредственный контакт с мужем, инспектор сосредотачивает свои усилия на матери и выбирает коммуникативный ход “апелляция к качествам партнера”, состоящий в “выделении качеств слушающего, которые позволяют ему выполнить то, к чему его склоняет говорящий”.¹² Специфику ситуации определяют то, что такими “качествами” выступают не собственно личностные, а социальные характеристики, и здесь инспектор проявляет чудеса словесной эквилибристики, перевода высказывания партнера в сферу своих интересов. Не распознав французскую фразу и предположив, что перед ней безработный, мать думает: “Нужно дать” (V, 214) и начинает: “Мы не очень богаты” (V, 214), в ответ на что инспектор немедленно парирует: “Так это именно для бедных!” (V, 214) и дальше наращивает повтор-плеоназм: “Это именно для неимущих, живущих трудами рук своих” (V, 214); “...больше всего стараюсь заинтересовать своим предложением именно малоимущих, живущих трудами рук” (V, 214); “Итак, это именно важно для живущих трудом своих рук” (V, 215). Сходным образом заявление матери “мы должны переезжать на другую квартиру” (V, 216) вызывает немедленную реакцию: “Но мое предложение как раз и рассчитано на лиц, переезжающих на другую квартиру” (V, 216). Кроме социального, инспектор обращается и к семейному положению: трижды он пытается внушить матери мысль о возможности “потери кормильца”, резонно предполагая, что таковым должен быть муж: “Представьте себе, Madame, что вы имеете несчастье потерять своего мужа...” (V, 215), “И если бы вы, Madame, имели несчастье, лишиться своего мужа...” (V, 215), “...я вовсе не хотел сказать, что вы непременно потеряете своего мужа... (V, 215). Приводя – по вдохновению или по заученному тексту – “жизненные примеры”, инспектор также “играет на повышение”, увеличивая число остающихся детей-сирот исходя из магического числа “три”: “И останетесь одна с тремя малолетними детьми, младшим – грудным” (V, 215), “Я знал одну женщину, у нее было шестеро малолетних детей, и когда её муж упал со стройки...” (V, 215). Инспектор видит в матери “успешного, но завравшегося ученика”

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же.

¹² Там же, с. 153.

(как будто по касательной здесь всплывает пьеса Э. Ионеско “Урок”,¹³ но и в самом деле фельетон Цветаевой – это, в какой-то степени Ионеско до Ионеско, – и там и здесь – крах коммуникации и абсурд), и даже в самый кульминационный момент, то есть перед фактическим признанием своего поражения, он продолжает отстаивать наличие коммуникативного сотрудничества: “Да, не часто меня понимают, как вы, Madame. И, чтобы возвратиться к страховке...” (V, 216). Таким образом, инспектор – профессионал своего дела, который, однако, не достигает своей цели. В чем же причина?

Уговоры, так же как и убеждения, используют апелляцию к разуму, к категориям “Польза – Вред”, возможная “апелляция к чувствам, отношениям между партнерами”¹⁴ в разговоре инспектора и матери в прямом виде исключается, поскольку эти люди незнакомы между собой. Модели оказываются недейственными: на разум отвечает чувство, “польза” отвергается. Вот продолжение разговора о муже, упавшем со стройки:

– Ох!, – вскрикнула она содрогаясь от этого ужасного видения. – Какой ужас! С высока упал?

- Да, с сьельмого, - подтвердил инспектор, утверждаясь на второй ноге, и я сам выдал ей премию. Вы думаете – она не была рада?

- Какой ужас! Вторично и совсем по-другому воскликнула слушательница.

– Какой ужас – радость таким деньгам! (V, 215).

“Ужасное видение”, “ужас” / “рада”, “радость” – два противоположных восприятия, которые можно было бы связать с разными типами личности. Однако тирада “слушательницы” по поводу возможной смерти мужа ставит все точки над *i*:

– Слушайте! – воскликнула она. – Вы уже во второй раз говорите мне о смерти мужа. Это противно. *У нас* так не делают, при живом. Мы – иностранцы, я даже вам скажу, что мы русские, [...] русские своими ушами таких вещей слышать не могут, русские могут слышать только про *свою* смерть. Да! (V, 215).

Итак – две картины мира, два разных мировоззрения: “Русские всегда говорят “нет” (V, 216), по опыту инспектора. Это разделение отнесено к уровню генетического кода:

¹³ О пьесах Э. Ионеско см. Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Семиотический эксперимент на сцене (Нарушение постулата нормального общения как драматургический прием // Труды по знаковым системам. V. Тарту 1971.

¹⁴ Данные модели аргументации выделяет О. С. Иссерс (с. 151).

- Но если бы Monsieur сам застраховал свою?
- Ни чужих, ни своих, это у нас не в крови... (V, 216).

Базовая категория, лежащая в основе противопоставления, названа матерью:

- Мы не боимся падающих шкафов, – твердо сказала она, – мы, конечно все делаем для того чтобы они не падали, но когда шкаф – падает, это – судьба, понимаете? Так вам ответит каждый русский (V, 216).¹⁵

И позднее, идентифицируя себя с "лирическим поколением", мать производит самопрезентацию русских, исходя из европейской точки зрения и одновременно признавая её:

- Мы – "сантиментальные", "суеверные", "фаталисты", вы, наверное, уже об этом слышали? Про *ame slave*? (V, 216).

Слова "фатум", "фатальный", "фаталист", "фатализм" восходят к латинскому *fatum*, среди значений которого – "слово, изречение, воля, приговор богов", а также "рок, судьба, участь".¹⁶ Русский и европейский взгляд на судьбу – в чем их различие?

Концепт судьбы относят к ключевым концептам русской ментальности. Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев включают слово "судьба" в состав лексики, в которой отражается "русская душа" и русский национальный характер, отличительными чертами которого являются "тенденция к крайностям (все или ничего), эмоциональность, ощущение непредсказуемости жизни и недостаточности логического и рационального подхода к ней, [...], тенденция к пассивности или даже к фатализму, ощущение неподконтрольности жизни человеческим усилиям".¹⁷ Подчеркивается, что слово "судьба" имеет более высокую частоту употребления, чем его

¹⁵ Падающий шкаф материализуется в романе "Доктор Живаго" Б. Пастернака в виде рухнувшего старинного гардероба в семье профессора Громеко. "Вместе с досками, грохнувшими на пол, упала на спину и Анна Ивановна и больно расшиблась" (Пастернак Борис. Доктор Живаго. Москва 2000, с. 82). Падение гардероба выступает начальным звеном в цепи событий, из которых складывается судьба героев: Анна Ивановна умирает, Юрий Живаго женится на её дочери Тоне, виновник происшествия дворник Маркел "пошел в гору" (с. 546), его дочь Марийка становится третьей, невенчанной женой Юрия Андреевича, терпя и прощая ему "капризы опустившегося и сознающего свое падение человека" (с. 550).

¹⁶ Латинско-русский словарь. Москва 1949, с. 361.

¹⁷ Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). Мпсква 1997, с. 481.

аналоги в западноевропейских языках¹⁸ и “соединяет в себе две ключевые идеи русской языковой картины мира: идею непредсказуемости будущего и идею, в соответствии с которой человек не контролирует происходящие с ним события”.¹⁹ Существительное “судьба” имеет два значения и, соответственно, возглавляет два различных синонимических ряда: *судьба, доля, участь, жребий* – “события чьей-либо жизни” – *судьба, рок, фатум, фортуна* – “таинственная сила, определяющая события чьей-либо жизни”.²⁰

В западноевропейской культуре тема Судьбы отнюдь не обойдена вниманием – ни в теологии, ни в философии, ни в живописи, ни в словесности. Эволюцию взглядов на Судьбу в западной цивилизации проследживает Ж. Делюмо.²¹ В язычестве Судьба (Тюхе, Фортуна) – вызывающая страх и почтение “непостоянная и опасная хозяйка жизненных уделов”, в христианстве “в мире, созданном Богом – воплощением разума” нет места случаю, поэтому Судьба – это “другое имя искушения и зла”.²² Две противоречащих друг другу концепции Судьбы сосуществуют на протяжении многих веков, получая многократное переосмысление в соотношении с властью, временем, необходимостью, свободой воли, мудростью, человеческим бессилием и человеческим могуществом; в произведениях Данте и Петрарки, Бокаччо, Макиавелли, Моптя и Шекспира; в бесчисленных метафорах и персонификациях, аллегориях и эмблемах. Мы приходим к неожиданному выводу: в понимании судьбы как “таинственной силы” никакого особого различия между русским и западным менталитетом не усматривается.

Об этом говорят и модели судьбы, выделенные Н. Д. Арутюновой и рассмотренные ею на русском материале: “Власть, предопределяющая жизнь человека, может принимать разные облики: Распределителя,

¹⁸ Там же, с. 488-489.

¹⁹ Шмелев А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность. Москва 2002, с. 460.

²⁰ Там же. О слове “судьба” и концепте судьбы см. также: Wierzbicka A. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture - Specific Configuration. N. Y. 1992; Радзиевская Т. В. Слово *Судьба* в современных контекстах // Логический анализ языка. Культурные концепты. Москва 1991; Шмелев А. Д. Метафора судьбы: предопределение или свобода? // Понятие судьбы в контексте разных культур. Москва 1994.

²¹ Делюмо Жан. ГРЕХ и СТРАХ в цивилизации Запада (XIII – XVIII века). Екатеринбург 2003, с. 199-220.

²² Там же., с. 200- 201.

Игрока, Режиссера, Заимодавца, Судьи”.²³ Легко видеть, что все эти сценарии судьбы прописаны в европейской культуре. Да и поговорочный фонд, идиоматика свидетельствуют об общности представлений о судьбе в русском и западном сознании.²⁴ Ж. Делюмо напоминает латинскую поговорку: *Ducunt volentes fata, nolentes trahunt* – “Послушного судьба ведет, упирающегося тащит”²⁵ и в другом месте приводит такие французские поговорки: “Судьба внезапно человека возвышает. Потом мгновенно губит и унижает”, “Судьба переменчива, словно луна – сегодня светла, а завтра темна”, “Судьба слепа и ослепляет тех, кто с ней”, “Нет силы такой, чтоб бороться с Судьбой”, “Против Судьбы уклончивой не сыщешь повозки устойчивой”.²⁶ Не говоря о том, что все сценарии судьбы, названные Н. Д. Арутюновой, обеспечены в русском языке устойчивыми выражениями (например, *коварная, злая, жестокая судьба, судьба-злодейка, судьба играет человеком* и пр.), можно вспомнить такие, приводимые Далем пословицы, как *Всякая судьба сбудется, Всякому своя судьба, Судьба руки свяжет, От судьбы не уйдешь* и пр.

Возможно, модель Судьбы как судьи и предопределенности в большей степени близка русскому сознанию вследствие того, что *суд, судья* и *судьба* – это слова одного корня и Бог есть единственный судья (Божий суд) и единовластный распорядитель, то есть все происходит в соответствии с божественными установлениями. Но в целом следует признать справедливым замечание Н. Д. Арутюновой о том, что “обыденный аналог мировоззренческого термина”, каким является, Судьба, “может отсылать к множеству противоречивых жизненных ситуаций, при этом за говорящим оставляется не только право выбора наиболее для него приемлемого варианта, но также право быть непоследовательным в своих выборах”.²⁷

²³ Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. Москва 1998, с. 625.

²⁴ Показательно, что, по мнению Т. А. Булыгиной и А. Д. Шмелева, “в большинстве употреблений слова “судьба” в современной живой речи нельзя усмотреть ни мистики, ни фатализма, ни пассивности” (Булыгина Т. А., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира, с. 489). Рассматривая “нетрадиционные” контексты употребления, Т. В. Радзиевская считает возможным говорить “формирование нового концептуального содержания у слова “судьба”, связанного с движением “от отвлеченного к предметному, обозримому, конечному” (Радзиевская Т. В. Слово *Судьба* в современных контекстах, с. 69, 71).

²⁵ Делюмо Жан. ГРЕХ и СТРАХ в цивилизации Запада, с. 218.

²⁶ Там же, с. 216.

²⁷ Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека, с. 629.

Но почему же тогда именно слово “судьба”, да еще для верности поддерживаемое характеризующими номинациями “суеверные”, “фаталисты”, становится опознавательным знаком русских и “русскости” в “Страховке жизни”? Более того, после того как в устах матери прозвучало слово “судьба”, поведение инспектора совершенно изменяется: он говорит не “развязно”, а “задумчиво”, он рассказывает содержание фильма – мелодрамы (своего рода “развесистой клюквы”), который он смотрел вместе с матерью (“Моя мать даже плакала” – V, 216), он настаивает на установившемся взаимопонимании, он, наконец, произносит комплимент, который подводит итог состоявшемуся разговору (хотя и несостоявшейся сделке): “Ваши чувства делают вам честь...” (V, 217). Как будто слово “судьба” приобретает для него очень личный смысл в той части, которая относится к фатуму и вместе с тем инспектор схватывает объемлющее понимание, вкладываемое в это слово героиней и обозначаемое как “русскость”. “Личный смысл” немедленно предъявляется читателю в рассказе инспектора о его семье:

Я пятнадцатый сын, – задумчиво и совершенно уже другим, сновиденным каким-то голосом продолжал инспектор, – а после меня было еще двое. Мне двадцать шесть лет, а моей матери пятьдесят два года. У неё было семнадцать человек детей. и два воспаления легких, и ей два раза взрезали живот, и даже три, потому что второй раз забыли в нем простыню...(V, 217).

С последней фразы начинается театр абсурда, или, как это называется в логике, приведение к нелепице. Синтаксической поддержкой выступает сам перечислительный ряд, в котором рождение детей приравнивается к событиям, угрожающим жизни матери инспектора, при этом производится тщательная статистика “несчастных случаев”. Семантика странного, “случайного” поддерживается также указанием на необычные физические данные семьи (“Моему отцу шестьдесят два года, и он весит сто пять кило”; инспектор высится над собеседницей “как башня”, и при этом “он самый неудачный. Другие были великаны” – V, 217), но главным является количество несчастных случаев, обрушившихся на семью:

Как хорошо – семнадцать! – с неубежденным жаром воскликнула собеседница. – Все живы?

- Нет, только я жив; последний брат – ему было тридцать четыре года – в прошлом году разбился о дерево/

- А...другие? – робко спросила она.

- Другие? Все от несчастных случаев. Тонули, падали, иные сгорали живьем (il y en a qui sont brules vifs) (V, 217).

В пьесах Э. Ионеско нарушение "постулата о детерминизме" приводит к тому, что "каждое событие становится случайным, т. е. все события равновероятны, поэтому обыденные события вызывают сильную эмоциональную реакцию, и, наоборот, поразительные события не вызывают удивления".²⁸ В рассказе инспектора происходит инверсия: собранные вместе "редкие" события приобретают статус обыденных, отсюда первоначально амбивалентная реакция собеседницы - "неубежденный жар" собеседницы и, уже после ухода инспектора, желание убедиться, путем тщательных подсчетов (с включением "пелепицы", граничащей с макабром) в самой возможности того, что "события" действительно произошли:

[...] она встала к столу и на обороте первого попавшегося конверта высчитала, что пятнадцатым он, двадцатилетний, у пятидесятидвухлетней матери мог быть только при условии, что она вышла замуж пятнадцати лет и рожала своих семнадцать человек сыновей одного за другим, без единого дня перерыва. Бывает... С трудом, но - возможно... И уже гораздо возможнее, если три раза, например, близнецы (которые, конечно, и погибли парами: двое сразу утонуло, двое сразу сгорело, - тогда и смертей меньше)... Но, все-таки, чтобы все, все семнадцать минус один он, погибли от несчастных, таких разнообразных, всех имеющихся налицо случаев... (V, 218).

На этом фоне редким становится как раз "счастливым случаем", который сохраняет жизнь инспектору и его матери - то, что называется "подарком судьбы" и что заставляет инспектора принять во внимание её существование.

Но не только - и даже не столько это. В "Страховке жизни" так отчаянно переплелись переживания Цветаевой, связанные с её семьей, чувство социальной униженности и неассимилированности во Франции, которые она разделяла со многими русскими эмигрантами, и некая всечеловечность размышлений о жизни, что в этом "проходном" и тоже как будто случайном парижском фельетоне за какую ниточку не потяни - открывается новый поворот и какое-то трепетание одиноких дум. История жизни инспектора нужна Цветаевой отнюдь не только для того, чтобы "привить" инспектору "русское" мышление. Ей самой нужен "счастливый случай", в который она верит и не верит, потому и сердце собеседницы инспектора то бьется "совершенно как у того, летевшего со стройки" (V, 218), то воскресает, когда в ней звучит голос инспектора, "которым он

²⁸ Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Семиотический эксперимент на сцене, с. 235.

говорил о матери, той, что выйдет к нему навстречу в Issy-les-Moulineaux” (V, 219). Разделавшись со “злым фатумом”, Цветаева придает рассказанной инспектором истории неопределенный статус: то ли это сон (инспектор говорит “сновиденным” голосом, “во всем этом была напряженность сна” – V, 216), то ли выдумка – миф (“Но даже если, в приливе страшного вдохновения, тут же все это выдумал, – разве не умилителен этот миф о себе, семнадцатисыновней матери последнем уцелевшем, безумно преданном сыне?” – V, 219). И миф этот “выдуман” Цветаевой едва ли не для того, чтобы отождествить ситуацию инспектора с её собственной, которой она наделяет собеседницу инспектора. С самого начала в “русской” семье обнаруживается, по сравнению с цветаевской, некий дефицит, ибо отсутствует вполне возможная здесь дочь; а в цветаевской жизни в это время все меньше становится дочери Али – Ариадны, пока она не уедет в Россию, пока Цветаева вновь не встретится с ней в Болшево и не запишет про неё: “Энигматическая Аля, её накладное веселье”,²⁹ пока Алю не арестуют, и Цветаева расстанется с ней – навсегда. Устраненные в результате смертей мифологические дети совсем было устанавливают параллелизм: инспектор – мать, собеседница – “мама” и “мальчик”, но остается еще – отец. Размышляя об истории инспектора и не изменяя иронии в процессе судорожного поиска того главного, что было сказано её гостем, собеседница размышляет об отце:

Может быть, – думала она раньше, – не ручаюсь... Может быть, и семнадцати человек никаких не было, может быть, раз их не было, может быть, и нормандского отца, дающего пощечины – каждая в сто пять кило весом! – не было, может быть, – и, кажется, верней всего, и в этом, кажется, *всё*. – *отца вовсе не было* (V, 219).

Рикошетом эта последняя фраза обращается на другого отца – того, кто сидит за кухонным столом вместе с матерью и сыном, кто “имеет вид не понимающего по-французски” (V, 215) и кто избирается основной мишенью в гипотетических построениях инспектора: “Представьте себе, Madame, что Вы имеете несчастье потерять своего мужа” (V, 215), – по мере повторения (да еще и с усилением – “вы не преминно потеряете своего мужа” (разделено мной – О. Р.) это предположение обретает звучание неотвратимости, так что перед его пугающей будущей реальностью отступает временная реальность “здесь присутствующего, явно живущего и жующего мужа” (V, 215). И когда жена возмущается: “У нас так не делают, при живом” (V, 215), она невольно проговаривается,

²⁹ Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. Том 4, с. 609.

потому что в русском языковом сознании “при живом” означает скорее “при *еще* живом”; так говорят, например, у постели тяжело больного человека, ибо он может услышать сказанное – кстати же, инспектор, так и не убежденный в том, что муж понимает по-французски и, следовательно, хотя и слушает, но не слышит, всем своим поведением подтверждает именно такое понимание ситуации. И пребывание мужа-отца, действительно, оказывается временным: вырвавшись из кухонной “западни”, он окончательно исчезает из пространства текста – как окончательно и трагично исчез из жизни Цветаевой, после недолгого совместного житья в Болшево, Сергей Эфрон – тот, на фоне встречи с которым Макс Волошин наставлял Цветаеву:

- Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.

- Марина! (вкрадчивый голос Макса) – влюбленные, как тебе может быть известно, – глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом)... булыжник, ты совершенно искренно поверишь, что это твой любимый камень.³⁰

(И хотя С. Эфрон и вручил Цветаевой “генуэзскую сердоликовую бусу”, не обернулась ли она – булыжником?)

Итак, в “Страховке жизни” устанавливается, в конечном счете, параллелизм и двойничество одного типа родственных отношений: мать – сын, и диалог ведется между русской матерью и французским сыном. Выше уже было сказано о том, что перелом в разговоре наступает, когда мать произносит слово “судьба”. Думается что настоящая, а не приписываемая специфика русского понимания судьбы определяется тем, что слово “судьба” в русском языке, с одной стороны, синонимично слову “жизнь”, а с другой – таким словам, как “фатум”, “рок” или “фортуна”, то есть случай понимается в этой концептуализации как неустраняемая сторона жизни.³¹ Этим и определяется “русский нравственный кодекс” по отношению к судьбе, который и стремится передать мать инспектору. Прежде всего – понимание жизни как судьбы и судьбы как жизни освобождает от чувства страха. Русская мать, которая в первой части разговора только и делает, что впадает то в один страх, то в другой, и пережив очередной приступ после упоминания о шкафах (“Какой ужас! – и она даже закрыла глаза. – Именно наш шкаф, данный нам именно за

³⁰ Марина Цветаева. История одного посвящения. Том 4, с. 149.

³¹ О пересечении “семантических сфер” жизни и судьбы пишут, в том или ином аспектах, все авторы, затрагивающие концепт судьбы.

нестойкость...” – V, 216), внезапно, что называется, распрямляет плечи – напомним еще раз уже приводившуюся цитату, акцентируя ту часть, которая идет до слова “судьба” :

– Мы не боимся падающих шкафов, – твердо сказала она, – мы, конечно, все делаем, чтобы шкаф не упал, но когда шкаф падает, это – судьба, понимаете? (V, 216).

Есть и второе правило – “нам, моему мужу и мне, претит одна мысль о деньгах за смерть кого-нибудь из нас” (V, 216). А дальше открывается следующее: по мере того как инспектор рассказывает свою удивительную историю, становится ясно, что эти правила ему вовсе не чужды, что фактически частная жизнь человека – будь он русский или француз – протекает именно по этим правилам. Казалось бы, французская мать после смерти шестнадцати детей и возможных шестнадцати страховок их жизнью могла бы чуть ли не обогатиться, но инспектор отказывается от этого выигрышного хода в своих стратегиях уговаривания и ни разу не упоминает о страховках. Но главное даже не в этом а в том, как живут инспектор с матерью после таких-то потрясений: “Мы иногда с ней смеемся и шутим” (V, 217), – иначе говоря, жизнь вмещает и фатум, и фортуна (если ею именовать “счастливым случаем”), и вмешательство судьбы как фатума не зачеркивает судьбы как жизни. Инспектор больше не видит в русской матери потенциального клиента, в ней – в матери, дающей и оберегающей жизнь, он видит настоящую “страховку жизни”: “Вы любите своего мужа, у вас очаг, вам страховка так же не поможет, как и мне, я теперь вас понял...” (V, 218). И он всячески подчеркивает сходство русской матери со своей: “А выглядит она моей сестрой, и она так же стройна, как вы” (V, 217), “А мать вашего роста и вашего сложения, но у таких матерей и бывают такие сыновья” (V, 217). Он дарит собеседнице модель сыновнего отношения, которую сама это собеседница характеризует так: “Разве это не мечта о себе – лучшем, себе – настоящим? [...] не вся потенция сыновности?” (V, 217).

Но как же реально протекает жизнь матери и инспектора? Мать всегда ждет его, встречает, встает и греет обед, как бы поздно ни вернулся инспектор, они ездят вместе на пароходике, ходят в кинематограф (заметим – столь любимый Цветаевой), “On prend tous ses plaisirs ensemble” (V, 217). В сущности, это просто жизнь любящих людей – на месте матери и сына вполне могли бы быть муж и жена. Инспектор специально останавливается на теме собственной женитьбы: “Но так как уцелел именно я, я и не должен жениться, ни жениться, ни погибнуть от несчастного случая, ибо если бы я *ушел* – *ушли* бы трое...” (V, 217). Здесь какая-то странная логика: судя по возрасту последнего из погибших бра-

тьев ("тридцать четыре года"), хотя бы кто-то из мифологических детей мог иметь семью, а французская мать – внуков. Но о внуках в рассказе инспектора ни слова. Значит, женитьба инспектора – последняя возможность продолжить род, и мать вместе с мифическим отцом должны были бы всячески склонять инспектора к женитьбе! Мать в сущности эгоистически присваивает себе сына, возмещающая его отношением и его любовью все то, что она не получила от возлюбленного, от мужа. И это заслуживает высочайшую оценку собеседницы инспектора:

– Вы – чудный сын! – от всей души воскликнула она, невольно переводя глаза на своего и точно спрашивая. – Дай Бог здоровья вам и вашей матери, и вашему отцу! (V, 218).

Здесь наступает развязка последнего из узлов, так накрепко переплетенных в "Страховке жизни". Вглядываясь в сидящего на кухне мальчика, мы не можем не думать о цветаевском сыне – о Муре, о Георгии Эфроне. Мальчик в "Страховке жизни" характеризуется такими чертами: он путает русские и французские слова (мать распознает в его речи "очередного словесного метиса" - V, 212, то есть ошибки происходят постоянно) и, по логике вещей, сам должен стать "русско-французским метисом" – таким стал русский культурный европеец Георгий Эфрон. Мальчик хорошо и охотно кушает, что вызывает двусмысленный вопрос инспектора ("У него всегда такой аппетит?" - V, 218) и неоднозначно воспринимаемое признание самого мальчика ("А я нечаянно съел весь помидор, простите, мама, я так заслушался, что съел и вашу часть" – V, 218). Но главное – над ним витает какая-то неопределенность – сомнения матери, которая "точно спрашивает глазами", будет ли он таким же сыном, как инспектор. На этот вопрос мы можем получить неточный ответ, только реконструируя непростые отношения Марины и Мура, обращаясь к их записям, к воспоминаниям тех, кто наблюдал эти отношения в Москве, в Париже, в Елабуге. Но из "Страховки жизни" прочитывается – ретроспективно – и более страшное содержание. "Чем ты хочешь быть, мальчик?" – спрашивает инспектор, получает ответ: "Service militaire, а потом авиатором" и дает совет: "Вот военная служба – другое дело. Хорошая пора, лучшая пора, таким счастливым ты потом уже никогда не будешь" (V, 218). Георгий Эфрон вынес все, что обрушилось на него "на военной службе", начавшейся с подмосковного Алабино. За две недели до смерти он написал сестре Але: "Я абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны, и успех придет обязательно; я верю в свою судьбу, которая сулит мне в будущем очень много

хорошего”.³² В “Страховке жизни” инспектор дважды возвращается к тому, что “если бы я *ушел* – *ушли* бы трое”, “*мне* – *уходить* нельзя” (V, 218) и, максимально сблизив свою мать и собеседницу, желает ей счастливого будущего с сыном: “Будем надеяться, что и ваш сын будет вас радовать” (V, 218), “Итак, Madame, желаю вам счастья в вашем сыне” (V, 218). Без сомнения, о том же втайне мечтает и собеседница, но дальше как будто сам текст вдруг странно и неуместно проговаривается мрачным сравнением: “...уложив сына, пошедшего в постель, как камень ко дну” (V, 218). Мечту инспектора “о себе лучшем, себе – настоящем” она называет “воплем настоящей *profession manquée!*” (V, 219) – “неосуществленной мечты”. *Vice versa* это вопль и собеседницы, да, наверное, и самой Цветаевой.

“Но мать – была”, - так заканчивается “Страховка жизни”. Любая мать – русская ли, французская, это глубже и выше, чем противопоставление Запада и Востока. По идее она и есть “страховка жизни”. Никого она не боится и ни от чего не может уберечь. Единственное, что ей дано, – дать жизнь другому. Как подумаешь, это тоже немало – продолжить существование людей на земле.

³² Георгий Эфрон. Письма. Дом-музей Марины Цветаевой 2002, с. 192.